
И.И. Глебова

РОССИЯ 2014–2016: НОВЫЙ КУРС

Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук,
руководитель Центра россиеведения ИНИОН РАН.

Уже сейчас понятно, что 2014–2015 гг. – века не только послесоветской эпохи, но и шире: российской истории. Эти годы поставили перед русским человеком, обществом и властью центральные вопросы: о свободе и порядке, войне и мире, национальных интересах, задачах, перспективах. И ответы на них получены; они уже определяют нашу жизнь. Тем самым пространство выбора: чем быть России, каким будет наше будущее, в значительной степени сужено. Хотя сама тема выбора, конечно, не снята.

Нам еще предстоит серьезное, обстоятельное исследование нового курса, которым в эти годы пошла страна. Но какие-то наблюдения, суждения, предположения возможны и сейчас. Они, безусловно, чрезвычайно субъективны, поверхностны, спорны. Речь ведь идет о том, что случилось только вчера и еще не успело стать историей, что непосредственно касается каждого из нас. Но избежать этого нельзя. А начинать анализ российских дел следует с украинского вопроса.

**От «соглашения» о стабильности –
к националистическому консенсусу**

Размышляя о том, что произошло с Россией в короткий срок (с осени 2013 г.), обратимся к книге одного из выдающихся западных исследователей Р. Пайпса «Русский консерватизм и его критики»¹. Объясняя, почему в середине XIX в. в России возник новый консерватизм, имевший националистические, а в крайних случаях – шовинистические, ксенофобские и анти-

1. Пайпс Р. Русский консерватизм и его критики: Исследование политической культуры / Пер. с англ. – М.: Новое издательство, 2008. – 252 с. – (Библиотека «Либеральная миссия»).

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

семитские черты, и проповедовавший антизападничество, ученый указывал на влияние польского восстания 1863 г. «Как и предшествовавшее ему восстание 1830–1831 годов, оно задело русское национальное чувство, поскольку было истолковано не как законная попытка народа с многовековой историей вернуть себе независимость, а как европейская атака на Россию, – пишет Пайпс. – ...Это в огромной степени способствовало появлению крайнего национализма и усилению ощущения, что только самодержавие сможет сохранить целостность страны»².

Украинское восстание 2013–2014 гг. оказало приблизительно такое же влияние на Россию (скорее, психологическое и политическое, чем интеллектуальное). Попытка Украины окончательно утвердить свою «отдельность» от России, завершив тем самым процесс строительства независимой государственности и равноправной нации, задела русское национальное чувство. Потрясение от украинского выбора, воспринятое как предательство (всего: общей истории, общей повседневности, общей победы в Великой войне, общих дел «элит», общих проблем и бед народов и т.д.), способствовало окончательному оформлению в России крайнего национализма, построенного на антизападничестве и имеющего ярко выраженные шовинистические, ксенофобские и антисемитские черты³. Он носит оборонительный характер и оттого особенно агрессивен.

Киевский майдан, остановивший историческое дело «воссоединения Украины с Россией» (символично: в 2014 г. ему как раз минуло 360 лет), сплотил подавляющее большинство российского населения, охваченного националистическим порывом, вокруг «президентского самодержавия». Единение вокруг трона – наш аналог американского сплочения вокруг флага – было вызвано нараставшим (поддержанным и многократно усиленным СМИ) ощущением того, что украинский выбор (на Запад – значит, против России) угрожает самому существованию страны. Победоносная операция под кодовым названием «Крым – наш» и затяжное противостояние на востоке Украины отчасти сняли и эти страхи, и опустошающее осознание собственного одиночества.

Уязвленная национальная гордость, украинское предательство и ощущение западной (американо-европейской) угрозы превратили «великоросса» в националиста, заставили забыть о том, что еще вчера он был советским

2. Пайпс Р. Указ. соч. – С. 154, 159.

3. Последнее – вовсе не оговорка, хотя риторика противостояния «жидобандеровцам» вроде бы этому противоречит. Антисемитизм в России и СССР (да и не только здесь) всегда был спусковым крючком для крайнего, т.е. погромного, национализма. Его основной тезис: спасай Россию! Как – всем у нас известно.

человеком, т.е. убежденным интернационалистом⁴. Лидером же националистического движения стало «самодержавие», своей украинской политикой нейтрализовавшее всех общественных конкурентов – творцов и глашатаев постсоветского русского национализма. Теперь социальная база национализма невероятно расширилась. Почти вся страна – самодержавный «народный фронт», а все националисты-общественники – не более чем идеологическая обслуга (или попросту медиа-«кричалки» – возбудители ненависти) народного самодержавия / самодержавного народа.

Наконец, украинское восстание привело к окончательному размежеванию российского общества – на сторонников и активистов нового «народного фронта» и его противников – явных (публично заявивших о своей позиции, т.е. обнаруживших себя) и потенциальных (затаившихся, не саморазоблачившихся, воздержавшихся). Собственно, так и должно было быть.

Украинский вопрос (чем быть Украине? какую ориентацию выбрать?) является в то же время вопросом русским: кто мы? чем будет Россия? Ведь остаться без Украины, по существу, означает окончательную ликвидацию сферы послезеэсэсэровского геополитического влияния России, замыкание в собственных границах и, что хуже всего, полное одиночество (без друзей и союзников). Ответ большинства россиян «озвучила» (одно из главных слов новорусского лексикона, странное и неадекватное для обычного русского уха) власть: раз Украина – не Россия, то Россия – не Европа. Более того, Россия – анти-Европа: есть наш, русский, мир, и он против вашего. Это именно *общий* ответ (его, в случае чего, не списать на власть), о чем свидетельствуют данные социологических опросов. Антизападнические настроения россиян к концу 2015 г. побили все прежние рекорды: около 80% – отрицательно относятся к США, видя в них угрозу, и около 70% – к ЕС.

Воинствующее антизападничество стало основой нового исторического консенсуса российского общества и российской власти, сменившего «пакт о стабильности» рубежа 1990–2000-х. Очевидно: его следствием будет не какой-то вариант «восточничества» (и придание образу России соответствующую

4. Ответом на падение коммунизма могли быть у нас либо либерализм, либо национализм. Либеральный (или либерально-социал-демократический) выбор стал бы для России и выбором в пользу Европы. Посткоммунистический национализм в принципе мог быть окрашен в разные тона. Но из 90-х, с их странным сочетанием лучших намерений, опыта свободы, вседозволенности, экономического произвола и торжества социальной несправедливости, должен был выйти национализм защитно-компенсаторного толка, т.е. реакционный и антизападнический (это вещи неразрывные – у нас реакция всегда имеет антизападнический характер). Тенденции к национализации либерализма и либерализации национализма потерпели в современной России окончательное поражение.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

щих: по официальному определению, евразийских – черт), а новый приступ изоляционизма.

Из этого властенародного консенсуса выпадает немалая часть общества. Не составляя социального единства, ее представители прослаивают всю социальную ткань, т.е. являются не слоем, а «прослойкой» – как советская интеллигенция. Новые националисты считают их чуждыми «традиционным российским ценностям». Отчасти это верно – они действительно чужды традиции изоляционизма. Но, как известно, «традиционно русское» этой склонностью не исчерпывается. Да, России свойственна антиевропейская тяга, какая-то даже необходимость время от времени почувствовать себя не-Европой, побыть вне и без цивилизованного мира – в одиночестве. Однако европеизм занимает в российской истории столь же сильные позиции, как и антизападничество.

Россия 2000–2010-х унаследовала от поздне- и послесоветских времен массу людей, вестернизированных не в потребительском лишь отношении (вот тут уж мы точно – европейский продукт, наши современные вид и быт – следствие импорта европейских образцов), но и в культурно-ментальном. Для этих россиян проповедь антизападничества чужда и непонятна. Потому что они не только считают себя европейцами, но и в значительной степени являются таковыми. В их мировоззрении национальное чувство соседствует с космополитизмом (т.е. с тем, что противоположно воинствующему изоляционизму), ощущением своей принадлежности к европейской культуре. Их патриотизм окрашен в культурные и гражданские тона. Они предпочитают мирное сосуществование фронтам (во всех смыслах и видах), агрессии, милитаризму. Поэтому инстинктивно сторонятся нового националистического консенсуса, видя в нем угрозу себе, своему образу жизни, а также общему (российскому) будущему.

Этот социальный раскол – одно из главных следствий «нового курса». Следствий, безусловно, опасных, угрожающих социальной стабильности и устойчивости. Будучи культурно-ментальным в своей основе, этот раскол имеет глубокие исторические корни (о чем мы еще скажем). В то же время это явление обусловлено нашим недавним прошлым.

От какого наследия мы отказываемся

По существу, антизападничество / изоляционизм / национализм (как форма русского имперства) – ответ России 2000–2010-х, т.е. страны, оправившейся от исторического потрясения, определившей, со сформировавшейся «массовой волей» (в смысле: волей масс), позднему СССР, а также пере-строечному, горбачёвско-ельцинскому прошлому. Эта Россия отказывается

от главного в позднесоветско-перестроечном наследии – от настоятельной потребности открыться, войти в мир, быть его частью, во взаимодействии с ним искать новые источники для развития. Заодно прощается со всей мировоззренческо-ценностной атрибутикой, которая должна была обеспечивать – и некоторое время делала это – движение в мир и соответствующие этому изменения внутри страны.

Демонтаж оттепельно-перестроечного наследия (традиционно радикальный: по принципу «отречемся от старого мира») шел в последние почти два десятилетия по двум линиям. Прежде всего, по частной, «субъективной» (точнее, субъектной). Из публичного поля пропали почти все перестроечные «выдвиженцы» (из разных сфер – политики, экономики, науки, культуры), обществом отторгаются те типы личности («модальные личности») и образцы социального поведения, которые возобладали в перестройку и 90-е. Можно сказать, что новой Россией, возникшей на месте СССР (а это именно *путинская* Россия), отрицается тип свободного человека, все формы его самовыражения. Кроме того, первая половина 2010-х стала пиком отрицания демократического «проекта» на мировоззренческом уровне (т.е. его отрицания по существу). А значит, это неизбежно должно было приобрести – и приобрело – политические, экономические, культурные и прочие формы. Из России 2010-х изгнаны темы свободы, гражданской ответственности, самодеятельной солидарности. Современная русская жизнь строится на прямо противоположных основаниях.

Строится, надо сказать, органически – снизу вверх. Но в оформлении этой привычно-органической коллективной тяги – к жизни в несвободе (изоляция, безусловно, рамка, способ оформления такой жизни) – большая заслуга нынешней власти. В последние 20 лет «верхи», немало потрудившись, вернули все, что потеряли в 90-е: контроль над политикой, экономикой, культурой, сознанием и поведением «народных масс». Они вновь – руководящая и направляющая сила нашего общества. При этом «новые управленцы» обошлись без всяких КПСС (а также комсомолов, профсоюзов и других массовых организаций). Однако активно эксплуатировали советское наследие – во всех отношениях: разведанные запасы углеводородов и прочие «богатства недр», советские здания и учреждения, советское кино, врожденную способность миллионов людей мыслить по-советски и т.п. То есть употребили себе на пользу и «базис», и «надстройку».

Для новорусских элит 1990-е, действительно, оказались провальными, а 2000–2010-е – победными. Они восстановились как «господствующий класс», т.е. вернулись к традиционному типу самореализации, традиционной модели взаимодействия с народом (в режиме «правлящие–подвластные»),

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

поставленным под вопрос в перестроечные времена⁵. В то же время «верхи» сняли с себя многие прежние (исторические) ограничения и приобрели тем самым новые преимущества. Не случайно в качестве основы легитимности они выбрали 1945 год: победители могут быть наследниками только победителей. Здесь же – их ценностная, идеологическая смычка с народом, из которого они вышли и от которого теперь страшно далеки (в потребительском, экономическом отношении).

Но вот что интересно. Для исторической легитимации отрицания времен перестройки / реформ нам (и «верхам» и «низам») не хватило обращения к «брежневскому СССР» или легенде «андроповского поворота». (Хотя это оправдано и с исторической, и с символической точек зрения: «застой» и «революция сверху» суть альтернативы «революции снизу» – против традиционной системы, делающей ставку на несвободу / принуждение / произвол, безусловно имевшей место на рубеже 1980–1990-х.) Чтобы убить 90-е в себе, современной России потребовался «Сталин»: и соответствующий опыт («нормализация» / оправдание террора в прошлом – всегда разрешение на насилие в настоящем) и мифология торжествующего тоталитаризма⁶. То есть отказ от перестроечно-демократического наследия, ориентирующего на всемирность / европейскость России, потребовал возврата к ценностям предыдущей эпохи.

И дело здесь не только в яркости, интенсивности, привлекательности, энергетике того, в полном смысле слова перестроечного, времени. В том лучшем, что в нем было, оно соответствовало современности – стремлению к устройению мира на тех началах, которые были бы более щадящими по отношению к человеку, нормализовывали его жизнь, гасили в нем худшее.

Никто тогда не знал, как это сделать, но такое намерение, массовая воля к такой перестройке были. И это естественное стремление, по-человечески понятный выбор. Теперь народная воля торит у нас дорогу в каком-то другом направлении. В самом общем смысле перспективы этого движения («курса») очевидны. В конце 1980-х годов в СССР был демократический подъем – и произошла демократическая революция. В России середины 2010-х налицо реакционный подъем – а значит, вероятен реакционный переворот. Более

5. Смысл всех русских перестроек, собственно, и состоит в признании свободы как необходимости и попытке изменить на этой основе «режим» взаимодействия «верхов» и «низов»: чтобы правящие стали управляющими (временно и в рамках закона), а подвластные – управляемыми, наделенными правами и правом же ограниченными.

6. Это нелюбимое у нас теперь слово употребляется здесь именно в мифологическом значении – как название для системы, где тотальная народная воля слилась с тотальностью народной власти.

того, он уже совершается – на наших глазах, при нашем участии или помимо него.

Об отрицании свободы как необходимости

Уже не первый раз в своей истории мы пытаемся ответить на вопрос: как построить наш мир на современных началах, т.е. на основе свободы и взаимной ответственности – для свободного человека. И даем ответы, которые, разнясь по форме (в соответствии со временем), совпадают содержательно – в главном. Мы не можем и не хотим организовываться на таких началах. «Русский мир» (еще один термин из современного лексикона, характеризующий нашу современность с идеологической, ценностной стороны) их отторгает – причем именно тогда, когда они начинают в него вживляться, в нем утверждаться.

Так случилось, что очередной окончательный отказ от свободы, т.е. от современных способов социальной организации⁷, пришелся на наше время. То, что он приобрел крайние, малоприличные, подчас неадекватные формы, не случайно. Это непосредственная реакция на демократию – не только на результаты ее строительства, которые (как и «реальный социализм») ничего общего не имеют с исходной идеей и западной практикой, но и на демократию как принцип социального устройства, как социальный идеал.

Отведав этих плодов, наш человек осознал, насколько они ему не по вкусу – интонационно, поведенчески, институционально, всячески. Раздражают несоответствием каким-то глубинным, «корневым» началам обычно-привычной жизни. Пожалуй, только этим можно объяснить повышенную эмоциональность, странную взвинченность, даже легкую истеричность общественных настроений «против перестройки», «против Горбачёва», «против демократов», «против 90-х». Ну, невозможно было все это выносить! Как только «наверху» задвигались, заговорили, закомандовали привычным образом – все как-то сразу успокоилось: наконец-то – вот теперь все устроится.

7. Свобода – вовсе не абстрактное, трудноуловимое понятие. Говоря о социальной свободе, мы имеем в виду расширение зоны личной ответственности, обеспеченной правом. При этом речь идет о всех сферах жизни общества – экономике, политике, культуре и т.д. Свобода – это не воляница, а правовой порядок, где социальная жизнь регулируется правом (а не через иные формы – религиозные или властно-насильнические), установлено правовое равенство (все являются равными правосубъектами) и правовая однородность (действует одна для всех правовая система). Залог свободы – наличие свободы выбора. Организация общественной жизни на началах свободы предполагает достаточный уровень экономического развития. Социальная же несвобода – это расширение табуизированной зоны, где действует система автоматических табу / запретов, обеспеченная произволом.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

И действительно устроилось – так, как и можно было ожидать, памятуя прежний опыт: в «вертикаль» – экономическую, политическую, культурную, мировоззренческую. И это тогда, когда весь мир (цивилизованный – т.е. тот, в котором есть место для человека) идет в прямо противоположном направлении: организуется через «горизонталь». Основной принцип современной жизни, современного социального устройства – не властный, а общественный. Нынешний субъект развития – не персонификатор Власти (а значит, и не привластные силы, не бюрократический аппарат), но человек, им порожденные сетевые структуры. Современный человек – это «человек горизонтали». Наш же доминирующий социальный тип нацелен на «вертикаль». Она у него в голове, он переносит ее в жизнь, на этой основе строит все общественные отношения и институты. То есть постоянно воспроизводит прошлое – старый, не оправдывающий себя даже у нас способ социальной организации. Отсюда, кстати, непреодолимая тяга россиян к временам, вроде бы, демонстрирующим эффективность такого устройства, к поиску в дне сегодняшнем и «изобретению» традиций, способствующих укреплению «вертикали» (социально, институционально, ментально).

Теперь, как прежде, наша жизнь выстраивается «сверху»; все задачи и интересы, кроме «вертикальных», – мелочи, которыми можно пренебречь. Оказалось, наш человек способен отступить от традиционного: «я их не трогаю, никуда не лезу, а они пусть не мешают мне жить» (социологический факт: так описывают «низы» идеал своих отношений с «верхами»)⁸. Он даже

8. Этот идеал действительно исторический – в том смысле, что уже стал традицией. Так русский крестьянин выстраивал свои отношения с начальством, с государством. Община, общинные структуры служили посредником между крестьянством (его «миром») и миром внешним, в отношениях с которым крестьянин всегда выступал как «обязанный» (долгами / налогами, службой и проч.). Потому воспринимал этот мир как чуждый, чувствовал себя от него отчужденным: «скрывался» в общине, бежал за его пределы (на те пространства / «окраины», которые еще не были поглощены государством / системой, не стали официальной Россией). Но и система поощряла этот тип взаимодействия с народонаселением – особенно в спокойно-«застойные» (т.е. лучшие для России) времена. Да и «элитам», когда они доросли до «совершеннолетия», власть / система предложила тот же вариант: живите, как хотите, но ко мне, т.е. в политику, не лезьте (см. манифест Петра III о вольности дворянской, подтвержденный «дворянской царицей» Екатериной II). Вот она, «свобода по-русски»: воля в частной жизни, служба по желанию и неучастие в том, что находится за пределами частного / индивидуального. Иначе говоря, жизни общественной в рамках традиционного русского порядка не предполагалось – ни во времена деспотические, ни в эпохи «оттепельные». Поэтому социальная зрелость для разных слоев населения (сверху вниз – с элит до народа) означала их выход из круга «частностей» и создание своей «внешней» жизни: дворянских корпораций, обществ, рабочих профсоюзов, крестьянской кооперации и т.д.

готов жертвовать свободой частной сферы и своим правом потреблять, т.е. «народным наследием» 90-х. Понятно: одни дали – другие взяли (им по силе – значит, они и вправе), не бунтовать же, в самом деле. Свои люди – сочтемся. Вот здесь, в глубинной потребности в «вертикали», – (помимо прочего) источник нового, послекрымского «властенародия»⁹.

Всё это реакции общества, по преимуществу несвободного, на распространение в нем свободы. Наша социальность столетиями формировалась как несвободная; основа / истоки московского самодержавия и петербургского имперства – крепостнический порядок. Русское массовое общество соиздавалось – в рамках советского «проекта» – как тотально несвободное (и потому закрытое, отчужденное от всех других¹⁰). Если исходить из теоретической посылки, что разные общества – это соединение различных типов модальных личностей, то специфика общества российского состоит в том, что в нем по-прежнему господствует личность несвободная. Причем за XX столетие она осознала и приняла свою несвободу как основу существования. Цель этой личности – адаптироваться к условиям несвободы, встроиться в систему, которая этим условиям соответствует (здесь неважно, как она называется: самодержавно-крепостнической, командно-административной, авторитарной, полицейской).

Обменять свободу на блага, которые дает система, – вот жизненная установка личности такого типа. Равнодушие (к любому другому), неучастие, единомыслие – необходимые условия обмена. Практикующий все это человеческий тип – основа несвободного общества. Для того чтобы оно существовало, нужна и соответствующая система власти: та, что есть, – гарант и охранитель несвободы, этой главной общественной скрепы.

«Русский Запад» как историческое явление

Если бы «русская система» была замкнута только на себя, никак не зависела от окружающего мира, она могла бы жить и жить по своим понятиям. Но временами она остро ощущает эту зависимость и свою неустойчивость (из такого рода «переживаний» рождались в России оттепели и перестройки). Система этого типа внутренне нуждается в «достройках» / «подпорках» – в технологиях общения с современным миром. Они восполняют ее дефициты,

9. Этот термин кажется мне подходящим для обозначения своеобразного типа коммуникации «верхов» и «низов» русского общества. Подробнее см.: Глебова И.И. Как Россия справилась с демократией. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 132–143.

10. Советский «проект» в первоначальном замысле в идеале был изоляционистским: изоляционизм возводился в принцип. Отсюда постоянная потребность советского порядка во врагах, милитарный пафос противостояния / чуждости всему миру, органическая склонность к войне как способу решения внешних проблем.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

позволяют адекватно реагировать на внешние вызовы, т.е. не отставать, держаться в «строю», соответствовать цементирующей «нацию» идее: «большая страна – большая историческая судьба».

Впервые жестко и последовательно за этими технологиями пошел Петр I – в прямом смысле: на Запад – современность уже тогда имела европейское лицо. Попутно создал страту людей, умеющих («наученных» – на Западе, Европой) обращаться с этими технологиями. Так, из внутренней потребности традиционного порядка соотносить себя с миром, встроиться в современность (быть современным) в России появилась европеизированная субкультура (меньшинство)¹¹. Созданная для нужд системы, она постепенно наращивала субъектность и стала своего рода «внутренним Западом». Чем успешнее эта социальная страта справлялась с задачей обслуживания системы, тем быстрее шел процесс обретения ею субъектности.

Субкультура русских европейцев «строилась» вокруг тех тем, которые противоречили логике системы (свобода, самодеятельность, общественное служение – в их числе)¹². Поэтому, действуя в ее рамках, она являлась в то же время оппозиционным, антисистемным элементом (иначе говоря, вызовом системе). Однако со временем и сам традиционный порядок, закрепивший несвободу как принцип социального существования, приобретал новые изменения, новые качества. Как под давлением внешних вызовов (сигналом к изменениям у нас всегда служили проигранные войны: крымская, японская и проч.), так и под влиянием европеизированных слоев населения (они множились с распространением образования, урбанизацией, технической модернизацией). Разлагались «основы»; Россия (вся: власть, «верхи», «низы») менялась – сложно, мучительно, с трудом сохраняя равновесие. С отмены

11. Как показывает история, чтобы стать современной, России нужна именно европейская «прививка». «Русские европейцы» являлись проводниками этого влияния. В результате европеизации русская жизнь обновлялась, становясь более сложной. Ведь все новое – это и новые возможности (воздух свободы раскрепощает, раскрывает человека, с ним в общество приходят новые темы, вопросы, смыслы, способы существования, формы жизнедеятельности, институты), и новые опасности, угрозы. Проблема в том, что традиционный, исторически сложившийся тип русской социальности – против усложнения. Он склонен ограничивать более сложные формы жизни, давить связанный с ними «социальный контингент». Сложность, многообразие, открытость и прочие «излишества» противоречат его внутренней логике – выживания, а не развития. Общество этого типа сберегает себя на пути упрощения, сброса сложностей. Однако обновленческие «рецидивы» неизбежны и у нас. Потому что склонность к развитию – в природе любого общества. А ее стерилизация – путь к разложению, гибели.

12. Кстати, по этим темам европеизированная «субкультура» «верхов» и была расколота: либеральной культуре (условно говоря, «чацких») противостояла культура охранительная («фамусовых» и «скалозубов»).

крепостного права процесс изменений, вектор которых – европеизация (экономическая, политическая и проч.), стал необратимым. Обустраиваясь на новых началах, страна добилась невиданных успехов. Казалось, русское массовое общество будет строиться в рамках и на основе свободы, права, самодеятельности.

Но когда к грузу старых и новых (вызванных реформами конца XIX – начала XX в.) проблем добавилась мировая война, Россия не выдержала – рухнула. Все новое, все продукты изменений были похоронены под развалинами. В том числе человек – европейского, модёрного типа. Революция и Гражданская война обернулись в России борьбой с «внутренним Западом». Ее следствием стали конец гражданского общества, гражданского активизма, физическое вымирание не только людей европейского склада, но и соответствующих взглядов, ценностей, идеалов. Надо сказать, особый жалости ко всему этому никто тогда не испытывал. И не случайно у нас не прижилось толкование Гражданской войны как братоубийственной, как самоуничтожения. Страна избавлялась от «чужих»; принадлежность к дореволюционной (читай: европейской) культуре была признаком «инаковости».

В советские – точнее, в сталинские – времена выкристаллизовалось стойкое антизападничество, что в значительной мере объяснялось антимодернизмом сталинского «проекта» (СССР 1930–1950-х – это выпадение из modernity, т.е. из современности, в основе своей культурно-ментальное). Преодолеваться оно стало уже при Сталине – и главной вехой на этом пути явилась война: Великая Отечественная. Во время освободительного похода советская армия столкнулась с Европой (прежде всего, с бытовой, «хозяйственной» стороны). Это не прошло без последствий. Оправдались сталинские предвидения: советский человек, побывавший за границей, – это уже не настоящий («испорченный» – в смысле наведения порчи) советский человек. Народный вождь успел наказать народ за «предательство» (пусть и неосознанное или даже потенциально возможное) принципов – и его лично (как творца и хранителя изоляционизма / антизападничества): борьбой с космополитизмом, новым погромом верхушки армии, отказом «праздновать» победителей.

Смерть Сталина означала, что массово карать за интерес / симпатию к Западу уже не будут. И чем больше СССР становился *послесталинским*, тем сильнее становился этот интерес, появлялись возможности его удовлетворения. Да и образование (школа, вуз) давало людям, к тому чувствительным, основание полагать: если не пространственно и властно, то уж культурно мы все-таки близки Европе. Становясь все более массовыми, эти интересы и ощущения и творили из СССР после-, не- и антисталинскую страну.

В послесталинском СССР тоже сложился «внутренний Запад» – из вызовов НТР, разрядки, глобализации, послевоенной гуманизации и социализации

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

(в смысле: «больше социализма»). Он, конечно, был другим, чем в дореволюционной России: не «верхним» общественным слоем (подобно дворянству), а вестернизированной «прослойкой», осваивавшей западные потребительские стандарты и транслировавшей их (как желанную модель / образ жизни) «в массы». Общество-то уже было массовым. Но тема свободы – в иных, конечно, формах – была ведущей и для представителей этих страт.

Хотя «советский Запад» мыслил «освобождение» как торжество потребительской свободы и был гораздо менее просвещенным и неизмеримо более конформным, чем исторический предшественник¹³, его представители «работали» на открытие страны, ее синхронизацию с мировыми ритмами. То есть выполняли свою традиционную социальную роль. Вместе с тем искушали «системное большинство» призраком свободы и дарами «мира потребления» (материальными, интеллектуальными, культурными). Состоя с Западом в «холодной войне», страна все больше разворачивалась на Запад (по существу, идеальный «социализм будущего» приобрел в «реальном Западе» конкурента). Окончательно антиизоляционистские / западнические и в этом смысле антисоветские ориентации возобладали на «1/6 части земного шара» в перестроечные и 1990-е годы.

Итак, тип свободного человека не случаен и для нашего, по преимуществу несвободного общества. Он создан (как и многое у нас, «сверху» – властью) для контактов с внешним (а именно: западным) миром – чтобы осовременивать свой, русский. Поэтому его западничество (и вольнодумство или, по-русски, инакомыслие, и антисистемность) – не случайность или злой умысел, а результат истории, своеобразия русского развития. Именно он – субъект вестернизации / осовременивания русского мира. Эти социальные усилия сопрягались с общей позднесоветской тягой к либерализации и гуманизации, естественной для социальности любого типа. Она многократно проявляла себя в русской истории, поэтому столь же традиционна, как и тяготение к самодержавно-крепостническим порядкам. Хотя, надо признать, наше общество упорно сохраняет и сберегает себя именно как несвободное, видит

13. Советский европейски образованный и ориентированный человек был интегрирован в систему, растворен в ней – даже противостоя, являлся ее частью. Он не был нацелен на то, чтобы менять институты и процедуры (а они-то и упорядочивают жизнь, придают ей форму). Зато научился действовать через те структуры, которые имелись в наличии (использовать), или их обходить. Тем самым как бы творил для себя вторую («теневую») реальность. Но необходимость скрываться, маскироваться, вести двойную жизнь психологически надламывает человека. То есть тип советского западника надломлен, внутренне неустойчив, циничен. Он и в постсоветские времена действовал так же, как в советские. Чем, собственно, объясняются и его поражение, и его перерождение (заметьте: потерпевший поражение достойнее перерожденца – и в социальном, и в человеческом отношениях).

себя несвободным (скажем, понимает власть только как насилие – то, что может подавлять, подчинять и т.п.).

Совершив очередной «побег» в несвободу, в начале 2010-х наше общество («большинство») неожиданно обнаружило в себе нечто инородное (ему – на этом историческом этапе – не соответствующее) – на Болотной. Это тоже реакция на перестроечное время, но реакция положительная. Болотная – бунт человека, осознавшего себя свободным, а общество, в котором он живет, несвободным; выступление по сути своей не антивластное (хотя оно и обрело форму политического протеста), а антисистемное: за свободу и западничество как русскую традицию. Не случайно националистический консенсус «верхов» и масс образца 2014–2015 гг. является в основе своей антимайданным и антиболотным. Его характер – охранительный, запретительный. Он направлен против свободы выбора (в любой сфере, внутри и вне страны), за восстановление права на несвободу для всех и для каждого: как всеобщего и обязательного.

Внутренний выбор в пользу несвободы получил и внешнее оформление. Россия закрывается. Слова по звучанию высокие – напоминают горчаковское: Россия сосредоточивается. Но смыслы – самые низкие. Мы (как сообщество) отказываемся от решения тех проблем, с которыми был связан очередной выход в мир. Изоляция – не возвращение на единственно верный (потому что традиционный) путь, а капитуляция: признание своей несовместимости с современностью. Поэтому мы сейчас так заняты кем и чем угодно, зациклены на других (соседах, плохих и хороших, бывших друзьях, исторических врагах) и совершенно забыли о себе, о своем настоящем. Потому и внешний мир воспринимаем как чужой и враждебный: это лучшая точка зрения на себя, лучший мотив для изоляции.

Новый курс и война

Способ, который Россия выбрала для ухода от (из) мира, вполне традиционен. Милитаризация / мобилизация (в тех или иных формах) – необходимое условие для реанимации «порядка несвободы». Он наиболее эффективен именно в ситуации чрезвычайщины, когда срезаются все и всякие сложности и множественности, мир упрощается до понятной всем формулы: «мы / они» – «свой / чужой». Иначе говоря, в обычно-привычное существование входит война – сначала как идея, потом как практика.

Пожалуй, это самое поразительное из того, что случилось с нашей страной и с миром в последние два года: «война – у порога», мир поставлен под вопрос. Еще совсем недавно казалось, что человечество (и мы, как его часть) пережило войну, оставило ее в прошлом. И вдруг в считанные месяцы произошли рванши этой темы, ее экспансия во все сферы общественной жизни,

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

ее «банализация». Откуда такая беспечность, такое легкомыслие – и политиков, и народонаселения?

У нас это, казалось бы, легко списать на советское наследие. Действительно, с момента появления Страны Советов главным жизненным резонансом и для «верхушки», и для населения была война. Даже мирная повседневность уподоблялась военной: «классовая борьба», «осажденная крепость», «страна в кольце врагов», внутренние «предатели / пособники» и т.п. Эта картинка мира вписалась в сознание советского человека, став его идеологией, жизненной философией. Он мыслил милитарными категориями; главное подтверждение собственной успешности, конкурентоспособности получил в войне. «Мы – русские, какой восторг!» – эта суворовская реакция на военные победы России в конце XVIII в. лучше всего описывает наше отношение к победному 1945-му.

О милитаризме нашего массового сознания говорил, к примеру, известный социолог Г.Г. Дилигенский: «Чувство национальной гордости в советское время было, к сожалению, связано со способностью внушать страх: нас уважают, но не потому что мы живем лучше других, а потому что других пугаем»¹⁴. Надо сказать, и мир вокруг поддерживал в советском человеке это убеждение. Известный писатель Ю. Нагибин, будучи в 1970-е годы в Норвегии, где его очень тепло встречали, заметил: «А все-таки слаб человек без родины... Я это понял по отношению местных людей ко мне. “Пока есть такие люди, как вы, Россия не погибла” – и робкое, искательное заглядывание в глаза. Конечно, тут было личное отношение, я им пришелся по душе, что редко бывает, но мое обаяние хорошо подкреплялось бесстрашной пехотой, мощной артиллерией, танками, авиацией, очень окрепшим флотом и всей термоядерной мощью самого вооруженного в мире государства»¹⁵.

Однако сильнейшая потребность в самоуважении через страх (родственная, кстати, традиционному алгоритму любви по-русски: бьет – значит любит) гасилась тем историческим ощущением, которое нация вынесла из Второй мировой: только бы не было войны! Природный милитаризм советского человека «смирала» Великая Отечественная. Все советские лидеры после Сталина прошли войну или были задеты ею в более или менее сознательном возрасте. И воевать они не хотели. В значительной степени демилитаризовано – культурно, ментально – было позднесоветское (послевоенное, постсталинское) общество.

14. *Цит. по: Россия в условиях трансформаций: Историко-политологический семинар. Материалы. – Вып. 24. – М.: ФРПЦ, 2002. – С. 30–31.*

15. *Нагибин Ю. Дневник. – М.: Изд-во Книжный сад, 1996. – 698 с. – Режим доступа: <http://litrus.net/book/read/101551/DNEVNIK?p=67>*

Такое впечатление война 1939–1945 гг. произвела не только на нашу страну. За ней последовал длинный демилитаризационный цикл, который сопровождался культурной демилитаризацией, демилитаризацией сознания и «элит», и народов. Конечно, к «победоносному шествию» идеи мира ситуацию после Второй мировой не свести. История холодной войны – это целая череда военных столкновений, постоянная гонка вооружений. Но и народы, и «элиты» устали от войны – надорвались, в том числе морально. В 1945 г. мир ощутил себя послевоенным – и, несмотря ни на что, все больше становился таковым. Страх нового глобального катаклизма, захвативший мировые сверхдержавы и их союзников, служил столь же надежным фактором сдерживания, что и ядерное оружие.

В СССР после 1945 г. лимит на войны был исчерпан. Психологически, культурно, демографически (войне отдали все – погибло целое поколение, не оставив после себя потомства; воевать было попросту нечем) – всячески. Это, конечно, не исключало возможности участия в локальных конфликтах и гонке вооружений. Однако само это участие окончательно подрывало советские основы. Тотальность «оборонки» (во всех смыслах, но прежде всего в материально-финансовом) не давала развернуться гражданскому «сектору», в полной мере состояться гражданской жизни. Заикленность власти на «ВПК» (военном производстве, интересах «военщины») тормозила развитие позднесоветского общества как потребительского и гражданского. А оно желало быть таковым. Поэтому все меньше связывало свои перспективы с торжествующим милитаризмом, перестало ощущать себя «военнообязанным».

Показательна общественная реакция на афганскую войну. – Никакая: страна не желала ее замечать. И советское руководство весьма ограничено использовало ее для пропаганды своих успехов / успешности. Понимало: война – это не тема; об этом нельзя говорить – пропаганда войны опасна. Да она и не прошла бы. Той стране, из памяти о которой мы сейчас конструируем свое будущее, соответствовала идея мира – разрядки, мирного сосуществования.

В позднем СССР произошла культурно-ментальная революция, нами неосознанная и неоцененная. Демилитаризация сознания советского человека, его прощание с войной в голове – поразительный факт победы истории над идеологией, традиционными комплексами и фобиями, одно из лучших подтверждений того, что исторический прогресс – не пустые слова, но реальность, данная нам в ощущениях. В этом смысле перестройка в СССР вовсе не была случайной. И не случайно ее поддержали наши партнеры по холодной войне. – Накопленный антивоенный потенциал и там требовал реализации.

И вдруг – такое падение, полная девальвация капитала разрядки / сотрудничества, накопленного в поздне- и постсоветские времена. Повторим, не только у нас. Мы не одиноки в заигрывании с войной. К несчастью, не

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

одинок. Цивилизованное человечество открыло для этой темы свое сознание. Лидеры ведущих держав допустили возможность войны. Более того, уже идут разговоры о едва ли ни неизбежности ее. С нашей сегодняшней позиции эпоха после 1945 г. кажется уже не послевоенной, а передышкой между войнами.

На вопрос: почему? – можно дать лишь самый общий ответ. Вероятнее всего, нас – Россию и «Запад» (очень разный, конфликтующий и сотрудничающий евроатлантический мир) – подвела привычка жить без войны, уверенность в том, что после XX в. мировые трагедии невозможны. Кроме того (как бы дико это ни звучало), и «элиты», и массы ведущих мировых держав давно не воевали (я имею ввиду «большие», «исторические» войны). За 70 лет они не только излечились от страха, но и устали от мира. Стали искать резоны для войны. А это не сложно. Вспомним хотя бы: «Не мир, но меч принес...» В такой ситуации все меньше «работают» рассуждения о пагубности войн, об их катастрофических последствиях как для воюющих народов, так и для воюющих режимов. Забылся главный урок XX в. (да и вообще человеческой истории): ответственность за скатывание мира к военной катастрофе всегда несут все.

В России война из идеи, образа, возможности превратилась в реальность; с помощью СМИ вошла в каждый дом, сопровождает повседневную жизнь миллионов людей. Украина, информационное и экономическое противостояние с Западом, Сирия, публичные разговоры о «новой холодной» и «третьей мировой». Война у нас стала восприниматься как что-то нестрашное, лишь отчасти связанное с реальностью и едва ли не нормальное. Да и придуманные для нее пропагандой названия успокаивали, уводя от сути предмета: гибридная / информационная / психологическая – как бы и не война вовсе. Так, игра, развлечение, разрядка / оттяжка от многотрудной нашей обыденности.

Об униженном национальном чувстве и оскорбленной памяти

Такой внезапный поворот от мира к войне, изменивший страну, вызван многими обстоятельствами: внутренними и внешними. Скажем сначала о последних.

События конца 1980-х – начала 1990-х годов (символы которых – падение Берлинской стены и распад СССР) разрушили тот устойчивый миропорядок, который сформировался после 1945 г. (Приходится – с прискорбием – констатировать, что более или менее устойчивый и долгий порядок вырастает из мировых войн.) Новая ситуация парадоксальным образом сложилась не в нашу пользу. Парадоксальным – потому, что мы-то ее в значительной степени и складывали.

Следствием перестройки стали максимально возможные (и даже сверх меры – если исходить из требований безопасности) разоружение и открытость миру. СССР закончил холодную войну, во второй раз освободил Европу – на этот раз от себя. (Сказав это, я нисколько не хочу свести всю сложную историю отношений СССР и «стран социализма» к оккупации и репрессии¹⁶ или умалить достижения освободительных, антикоммунистических движений в Восточной Европе.)

Страна после долгого периода изоляции пошла на сближение с Западом, перестала видеть в нем врага. Новая Россия продолжила это движение, сделав ставку на интеграцию. При этом ожидала, что займет достойное место в освобожденной Европе, в мире, который избавила от военной угрозы. Что разделит преимущества нового послевоенного (после холодной войны) мироустройства. Что человечество не забудет об исторической роли СССР–России в XX в. – победителя и миротворца и о той цене, которой оплачены победа и миротворчество.

Однако в 1990-е и 2000-е годы Россия все больше чувствовала себя исключенной из сообщества ведущих мировых держав – пораженцем, проигравшим. Это было несправедливо и оттого особенно унижительно. В стране, помнившей себя победителем, привыкшей мыслить мировыми масштабами и в этих мыслях находить лекарство от внутренних нестроений, такие переживания должны были дать опасные всходы.

Г.Г. Дилигенский писал еще в начале 2000-х годов: «Эмоции многих россиян сегодня связаны... с униженным национальным чувством... Российское общество в силу <этих> особенностей своего психологического состояния в высшей степени чувствительно (можно даже сказать, ранимо) в отношении всех “сигналов”, посылаемых ему с Запада. Любой признак враждебности, отчужденности, пренебрежительного отношения к российским проблемам и интересам, тем более явное стремление ущемить их способны вызвать очередной негативный перелом в восприятии Запада и снизить влияние его примера, повысить престиж консервативных и националистических политических сил. И напротив, признаки доброжелательности, сочувствия, уважения, понимания по отношению к России могут усилить прозападные тенденции,

16. В современных оценках этой истории доминирует «принцип войны»: или / или. Социалистический блок называют или «социалистическим лагерем» (оценивая в «парадигме» войны), или «социалистическим содружеством» (трактую в «парадигме» мира / разрядки). В реальности восточноевропейский социалистический мир был и тем, и другим. Поначалу больше «лагерем», в постсталинские времена тяготел к «содружеству». Хотя и «лагерное» в его природе сохранялось, о чем свидетельствуют 1956 и 1968 гг., польские события 80-х и др.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

повысить престиж западных ценностей, экономических и политических институтов в российском обществе»¹⁷.

России (лидерам, политикам, обществу) хотелось, чтобы западные страны относились к ней как к равному. Но после краха СССР у Запада, по существу, не было никакой политики в отношении нашей страны: нас оценивали так низко, что попросту вычеркнули из большой мировой игры. Россия перестала быть интересной Западу, не учитывалась в геополитических расчетах западных стран. Понимая условность и даже опасность исторических аналогий, скажу: это напоминает отношение Европы к Германии после 1918 г. Оно стало едва ли не решающим фактором поражения «веймарской демократии» и скатывания к новой мировой войне.

Один из главных уроков мировых войн XX в. состоит в том, что победители не должны допускать унижения и экономической дестабилизации держав, потерпевших поражение, или принявших на себя всю тяжесть последствий послевоенного устройства. Это, как говорят в науке, методологическая ошибка. Так создаются потенциальные угрозы для мира, почва для возрождения зла. И по окончании Второй мировой побежденная Германия была интегрирована в Европу, евроатлантический мир. Этот ценный урок войны 1939–1945 гг. к концу XX в. оказался забыт.

Новый миропорядок созидался без его учета. Действия ведущих игроков определяли резоны и опыт холодной войны, а также упорное высокомерие победителей. И то и другое «работало» на милитаризацию: политики, жизни, сознания, на возрождение идеи войны.

У нас этот «ренессанс» был обусловлен не только настоящим, в котором страна оказалась на обочине мировой политики, но и прошлым. Точнее, памятью о нем. В 1990–2000-е годы под сомнение были поставлены наши лучшие воспоминания о главном источнике национальной идентичности: о Великой Отечественной войне.

После 1945 г. в Европе безусловно доминировала «память победителей»: в Восточной – СССР, в Западной – западных союзников. Распад Восточного блока и падение СССР дестабилизировали европейскую память о Второй мировой, придав ей новый актуальный смысл – политический и культурный. В Европе началась борьба за ту войну – за то, как должна использоваться память о ней.

Восточноевропейские нации «разморозили» свои «старые» (имперские, националистические) воспоминания. Будучи приспособлены («привязаны») к ситуации после 1991 г., национальные памяти восточноевропейцев оказа-

17. Дилигенский Г.Г. *Запад в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. – М., 2000. – № 5. – С. 18.*

лись политически взрывоопасны. Потому что технологией такой «привязки» стала память о советской оккупации Восточной Европы и о СССР как об оккупанте. Таким образом, в сознании восточноевропейцев 1945 г. все больше связывался не с освобождением от фашизма, а с утратой национальной государственности. Символом же освобождения и государственного возрождения стала эпоха рубежа 1980–1990-х годов.

Это можно понять: чтобы состояться, новые нации должны были использовать историю. А выбор здесь невелик. Если бы не было «вражеского» СССР с его «экспортом советизма», его стоило бы придумать. Эти воспоминания лучше других послужили национальной консолидации в постсоциалистической Европе. Однако в результате была упущена возможность сделать память об освобождении от фашизма одним из позитивных оснований новой общей Европы, где нашлось бы место и для России.

Для нас такое «переформатирование» прошлого оказалось столь же болезненно, сколь и падение международного престижа. Потому что это и есть главное. Победа 1945 г. для нашего человека – не просто одна из русских побед. Это свидетельство успешности нации в истории – еще более убедительное и бесспорное, чем великая русская культура (ею тоже гордятся – но на «вторых местах»). Не прошлое даже, а обещание будущего – основание для каких-то надежд, Наша Победа на все времена.

Попытки *это* оспорить вызвали такой же надлом национального сознания (и бессознательного), как утрата имперского (великодержавного) величия. Не случайно «унижение» (умаление) Победы «за рубежом» приравнено у нас к историческому поражению страны в 1991 г. Более того, само это поражение воспринимается как отложенный негативный ответ на историческую русскую Победу.

За короткий срок мир вокруг как бы вынес России двойной приговор: вон из мировой политики! вон из мировой истории! Это даже не удар – это нокаут.

Можно, конечно, сказать, что это ошибка восприятия, что на деле все сложнее, что «пораженческий» взгляд на себя, вызывая социальные недовольство и агрессию, не дает возможности развиваться. Все это так. Но мы тем не менее смотрели на себя именно с этой позиции. Точнее, это точка зрения у нас возобладала.

Поэтому, чуть оправившись от «смены режима», страна вполне предсказуемо возжелала реванша. Напомнить миру о себе как о победителях – вот важная потребность массового сознания и одна из главных политических задач России 2010-х. Им в жертву и приносятся сейчас иные жизненно важные потребности (даже в безопасности) и задачи (модернизации / развития).

Поиски справедливости: От национального – к интернациональному

Но, конечно, все решилось внутри. Бывшие империи могут десятилетиями жить, испытывая «фантомные боли». Способны даже их пережить. История знает множество таких примеров. Если настоящее постоянно обустроивается, прирастает перспективами и устраивает (экономически, социально, психологически) большинство народонаселения, то прошлое можно оставить в прошлом.

Массовая ностальгия: на рубеже 1980–1990-х искусственная (о том, что исчезло, что убили в себе, – о дореволюционной России), а в 1990–2000-е – уже неподдельная (об СССР, который мы потеряли) – показатель общей недовольственности своим настоящим. Милитаризация общественного сознания, мнения и политики в России 2010-х – это, прежде всего, реакция на внутренние проблемы. Точнее, это перенос их вовне – по двум линиям: властной и общественной.

Военно-наступательные действия власти в значительной степени определила «проблема-2012» (она же: «проблема-2008»; она же: «проблема-2018»). Внутренние риски для ее успешного решения, видимо, расценивались «наверху» как чрезвычайно высокие. Поэтому пришлось прибегнуть к сильнейшему средству: беспрецедентной активизации внешней политики – вплоть до Крыма. Тем более что международная ситуация благоприятствовала: Украина решила пойти на Запад через Майдан. Иначе говоря, «новый курс» предполагал возможность конфликта на постсоветском пространстве. Он строился с учетом сложностей нашей недавней истории и традиционных склонностей народа. И не случайно эта перспектива страной была принята, стала почти национальной.

Для основной части населения милитаризм / реваншизм тоже оказался выходом из тупика своих проблем. Нулевые годы, конечно, не были «тучными» (это эксклюзив для «элит»), но прошли под знаком благополучия и подъема: люди зарабатывали и потребляли, потребляли и зарабатывали. Социальный организм восстанавливался после сильнейшего потрясения. Правда, при всем различии 1990-х и 2000-х постсоветский порядок не изменился в главном. Испытывая острейший дефицит разумности и справедливости, не мог обеспечить стабильный рост и поравнение массовых потребительских возможностей. И, как свидетельствуют социологические опросы, массы это хорошо понимали¹⁸.

18. В рамках этого порядка практически все общественные блага и возможности сосредоточены «наверху». Конечно, можно сказать: это русская традиция. Что во многом верно. Однако в разные исторические времена для этой традиции находились

Если на рубеже 1990–2000-х годов народ, по существу, «расписался» в неверии в возможность строительства более справедливого порядка в рамках и на основе свободы, то к началу «десятих» утратил веру в его осуществимость вообще. Страна окончательно потеряла ориентир – ощущение общих задач, перспективы. И пошла за ними вонне. Заграница стала местом поиска справедливости: ведь в России это понятие не только социальное, но и пространственное¹⁹.

В ситуации с Крымом потребность в справедливости оказалась удовлетворена (отчасти, конечно) вонне: Крым – наш (исторически, человечески – всячески). Пусть нет справедливости для каждого, но она возможна для всех: возвращаются «наши земли» – восстанавливаются влияние страны в мире и достоинство ее людей. Взятие Крыма – символический реванш за 1991-й: не только «геополитический», но и социальный (по мнению большинства населения, выйдя из СССР, мы и попрощались со справедливостью). Здесь звучит эхо победного 45-го.

Крым – это символ и, если угодно, идеологическое обоснование нового общественного договора, в основе которого уже не демилитаризация и потребительская стабильность (застой по-постсоветски), но идеи милитаризации и великодержавного реваншизма. Не мир (пусть и плохонький), но война. Причем война справедливая: не случайно информация о ней втискивается нашей пропагандой в сценарий Отечественной – патриотической, победоносной, священной. Дела в высоком смысле народного.

Для власти смысл этого договора – в том, чтобы увести население от социальных проблем, вынести вонне потенциал социального протеста, конвертировать его в «капитал не-свободы». А также получить подтверждение

компенсации и ограничения. Сейчас социальному эгоизму «верхов» нет пределов. В массовом, потребительском, глобализирующемся мире этот дефект нашей социальности приобретает качество взрывного механизма. Не случайно переживания по поводу несправедливости нашего жизнеустройства социологи называют главным социальным неврозом.

19. Сама Россия – явление не только социальное, но и в значительной степени пространственное. Помню этот тезис. Держава наша строилась вширь. Колонизация территории была историческим делом не только власти, но и «мира» («мир» – основная социально-территориальная единица; главная форма, в которую отлилась русская социальность; наш аналог европейского общества). Тем самым проблемы «внутренней России» (социальное напряжение, нехватка пашенных земель и пр.) выносились в «Россию внешнюю». Занятые в ходе государственной и народной колонизации земли понимались как свои – и государством, и народом. С утратой пространств, сужением территории всегда терялись исторические резоны существования страны. Поэтому их возвращение полагалось (и полагается сейчас) счастливным и справедливым. В России 2010-х это лучшая технология «нациостроительства» и разрядки социальной напряженности.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

собственной силы (ее ощущение «там» высоко как никогда) вовне, демонстрацией мощи и влияния доказать стране свои эффективность и безальтернативность. Для населения это своего рода разрядка: конвертация всего негатива, накопившегося в 1990–2000-е по поводу внутренних бед и неурядиц, невнимания и равнодушия внешнего мира в отчаянный жест: «умыть» «укробандеровцев», «дать по жопе америкашкам». Да и прочим нашим партнерам.

О последствиях «нового курса» и национальных интересах

Российским ответом на всякого рода национальные унижения (внутренние и внешние) переломных времен стала милитаризация – поначалу сознания (и «элит», и народа). В 1990-е все более широкие круги населения охватывало мнение: мир вокруг России – это угроза; ей нужно противостоять, т.е. вооружаться. Сейчас оно стало едва ли не всеобщим.

Разоружение для нашего массового человека больше не является синонимом безопасности, ее залогом. Безопасный мир, с точки зрения наших людей, это мир вооружающийся. В рамках этого «нового» мировоззрения возродились все советские установки: мы – в своем окопе, кругом враги, займем круговую оборону, по возможности будем переходить в наступление²⁰. И: пусть знают! пусть боятся! Эти угрозы адресуем западному – нас отринувшему и унизившему – миру²¹. При этом «воображаем» его внутренне слабым, надломленным (как учили раньше, «загнивающим») – так полное ощущение собственной силы.

Любые «гуманитарно» обусловленные действия, сам путь демилитаризации (иначе говоря, компромиссов, договоренностей, т.е. дипломатии, политики) понимаются теперь в России как ошибка. Более того. Только встав на другой путь – конфликтов, угроз, противостояния, мы вновь ощутили себя и в мировой политике, и в истории. Крым стал историческим подтверждением правильности и «победности» реваншистского мировоззрения.

С Крымом к нам вернулось подзабытое историческое чувство: «Мы – русские, какой восторг!». Правда, за восторг приходится платить. И цена

20. Подчеркнем: и в этом случае «новому курсу» потребовалась предельная апелляция – к Сталину как подлинному создателю советского «проекта», к сталинским временам, когда милитаристско-изоляционистские установки были чем-то вроде символа веры.

21. Помещая именно туда источник угрозы, мы тем самым косвенным образом подтверждаем: значимый для нас мир (наш внешний мир) – это Запад. В других мирах российский обыватель мало что понимает; к ним он равнодушно-снисходителен, не чувствителен. Об этом надо помнить – особенно теперь, когда мы скатились в очередной приступ антизападничества.

растет – об этом напоминает устойчиво падающая национальная валюта. Но мы «не постоим» – у нас ведь, «по-истории», и благополучие временно, и сытость случайна. Да и с «субъектностью» получается в основном на внешних фронтах. А за «временные трудности» ответит «внутренний враг» – тут у нас накоплен богатый опыт...

Все, кажется, наконец, правильно. Мы вновь осознаем себя общностью, и «наше дело правое». Но сейчас особенно понятно: курс на несвободу / изоляцию / милитаризацию – это ошибка. Во всех отношениях.

Мы не удержались в рамках демократической: плюралистической, открытой, «возможностной» – перспективы. И шарахнулись назад, возрождая и воспевая как «органично-традиционное» («нашу норму») полицейско-запретительные, агрессивные, архаические социальные потенциалы. Не видя будущего²², сделали ностальгические воспоминания о советизме / советском едва ли не единственным резонансом собственного существования. Но СССР ведь нет, он в прошлом. – Получается, мы пережили свои перспективы.

События последних двух лет лишь создали иллюзию, что формула «назад, в будущее» работает. Что только здесь и возможны согласие, порядок, национальное самоутверждение. Это не так. И то, что «нация» консолидируется против врагов, внешних и внутренних, а не вокруг позитивной программы, нацеливается не столько на развитие, сколько на противостояние, – лучшее тому подтверждение.

В России внутренняя и внешняя политика традиционно тесно связаны, как бы взаимно перетекают друг в друга. Следствием внутренней слабости, надломленности и ошибочной политики «исключения», которую вел в отношении нас мировой гегемон²³, стала уязвимость страны для всякого рода опасных заблуждений. Многолетние публичные разговоры об «особом пути», акцентировка нашего антиевропеизма / антиамериканизма, попытки представить себя «хорошей» альтернативой «плохому» Западу ведут к теме войны.

22. Современная Россия пребывает в уникальной ситуации «после»: «после социализма» и «после капитализма». В ней нет «потом». «Проигрывание» же настоящего по сценарию прошлого, каждодневное ностальгическое переживание «хорошего советизма» как утраты (во многом с помощью ТВ) консервируют ситуацию «без будущего». А значит, множат потенциалы «не-развития». Не случайно в реальной жизни в геометрической прогрессии нарастают «пережитки» «плохого советского» (разного рода проявления «совковости») – в магазинах, на дорогах и т.п.

23. Для сегодняшней России Америка – источник мирового зла, антироссийской агрессии. Это не так. США – великая страна и великая демократия. Но как мировой гегемон, действующий в отсутствие каких-либо ограничений, склонны зарываться. И в случае с Россией Америка переходит грань. История и культура нашей страны таковы, что с ней нельзя говорить как с Верхней Вольтой. Такой разговор должен был привести к противостоянию.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

А это тупик. Все ситуации «мировойны» краткосрочны. В конце концов они разрешаются в пользу или мира, или войны. И чем больше разворачивается военная тема, тем ближе мир к катастрофе. Даже ядерное оружие не кажется теперь надежной преградой для мирового конфликта. Да и история XX в. утверждает: наличие оружия массового уничтожения – вовсе не гарантия мира. Оно шло в ход, обновлялось и совершенствовалось в обеих мировых войнах. Иначе говоря, война – это не способ «вернуться в историю», «восстановить достоинство» и т.п. В боях за субъектность современной России может быть уничтожен сам субъект.

Заигрывание с темой войны плодит не только внешние риски и угрозы. Война, какой бы она ни была, всегда ведет к внутреннему упадку. Насилие неизбежно проецируется во внутрь. В условиях войны укрепляется режим изоляции, совершенно не адекватный современной, чрезвычайно интенсивной, «экспансионистской» жизни. Снижается социальная эффективность государства, и без того у нас, мягко говоря, недостаточная. Политика и общественные отношения все больше определяются формулой: кто не с нами – тот против нас. Создается атмосфера, в которой возможно все.

Движение «новым курсом» грозит тем, что страна может оказаться на каких-то уж совсем последних рубежах. Там речь пойдет не о вечной и высокой цели: как нам обустроить Россию, а о том, как вернуться к обычной, нормальной жизни. Отрезвляющий инстинкт выживания рано или поздно вернет нас из миражей прошлого в настоящее, из изоляции – в мир, в современность. Заставит осознать: наш национальный интерес состоит в том, чтобы примириться вокруг ценностей человеческой жизни, равенства возможностей и верховенства закона.

Но здесь возникает главный русский (третий – после «что делать?») и «кто виноват?») вопрос – о цене: какой ценой будет оплачен такой поворот?